

Долгое эхо

Что оставил нам Юрий Казаков

Юрий Казаков. Удивительный писатель, замечательный мастер, классик (с течением времени это становится все очевиднее, все бесспорнее) современного отечественного рассказа. Он оставил нам после ранней смерти - в 1997 году ему исполнилось бы семьдесят, а совсем недавно, в ноябре того же года, минуло пятнадцать лет, как его не стало, вроде бы немного, несколько десятков рассказов да «Северный дневник». И все же думаю, более того, твердо уверен, что его писательскую судьбу можно считать счастливой. Да, он молчал последние свои годы; да, критика далеко не всегда была к нему справедливой, но сам читательский резонанс, но тяга к его имени!.. Зачаровывала и колдовски трогала душу уже сама мелодика его письма, эта будто песенная основа, строжайше выверенная тонким, чутким внутренним слухом и безукоризненно выдержанная. В ней - переливы голоса, долгое, почти певческое дыхание, когда фраза тянется, длится, переходит из строки в строку, а замерев, отозвавшись в тебе тихим, как выдох, последним улетающим звуком, вновь берет разбег в следующем абзаце, снова нарастает плавно набирающим силу рокотом.

«...А небо все так же сияло, и море сияло, и становилось еще продолжительней, дальше и ниже, а мы - на высоком носу, раскидывавшем ледяные хлопья пены, - как бы все повышались, повышались и вроде летели уже - туда, где за горизонтом стояло невидимое нам, но видимое небу, морю, и спящим птицам солнце.

А справа от нас то уходил за горизонт, то приближался, восставал мрачный пустынный берег...» («Северный дневник»).

Читать прозу такого уровня и класса (это ведь сейчас любой текст - все текст!), чувствовать ее дыхание, ритм, притертость слов - наслаждение почти физическое. Все, любящие Юрия Казакова, знают этот эффект, я бы сказал, эстетический восторг, когда, читая, невольно ахнешь про себя, потому что слышишь постоянно, как сказано в том же «Северном дневнике», некий «звук, все повышающийся до тончайшей бесконечности», слышишь «шепчущий голос: О! О! Смотри!..»

Смотреть и в самом деле было на что, было во что вслушиваться. Перед нами широко распахивался и беспрепятственно впускал в себя знакомый и словно бы незнакомый мир деревьев, трав, воды и камней, закатов и рассветов - мы будто заново начинали жить на этих страницах, жить с обновленным, точно бы промытым зрением, обострившимся слухом. Это было какое-то колдовство, неуловимое, текучее, всякий раз иное.

По Казакову, по рассказам его, наверное, можно определять меру читательского слуха и вкуса, а если шире - ту меру жизни души, ее способности радоваться или печалиться, любить и сострадать,

ощущать саму плоть, звуки и краски всего, что окружает нас, живущих на земле. Зрение и чувство одинаково остры и благодарны тогда и большому и малому - от шири и мощи морского простора до тихого и обреченно мерного падения капли из переполненного сладким весенним соком и надломленного сучка...

Всю свою писательскую жизнь Юрий Казаков говорил с нами о всечеловеческом, о том, с чем сталкивается на жизненном пути всякий - каждый из нас, и различна тут лишь острота реакции, впечатления...

Рассказам Казакова о любви, кратким и сжатым, мог бы, я думаю, позавидовать иной многостраничный роман - настолько они духовно богаты, объемны!.. Мета всеобщего, всеузнаваемого была явственна в них, и можно, пожалуй, заметить, что Казаков очень многое сказал как бы за нас в своих рассказах, выразил в них то, что так часто полнит наши души счастьем, восторгом или болью, а попробуй передать, объяснить - вряд ли что и выйдет... Эта немота, эта необъяснимость пережитого, как правило, тем острее - и мучительнее! - чем сильнее было чувство, и потому, думаю, рассказы Юрия Казакова так близки нам, так узнаваемы благодарным сердцем - они про нас, про наше и - всеобщее.

Казакова постоянно волновала и притягивала первооснова жизни, ее глубинная, властная сила, проявляющаяся не в чертах «сегодняшнего дня», а в постижении человеческой природной природы, лучше всего видной в ярком свете «вечных» проблем: труд, любовь, обретение счастья и его хрупкость, ранимость... Искалось - в глубине, в самых основах земной человеческой жизни, и внутренней, и внешней.

Пропущенное «сквозь призму сердца» (Жуковский) всегда было у Казакова в строгой, точной раме реальности и подчинялось ей. Очень часто - с горечью и болью...

Это реалистическое «ззеркалье», глубокое и точное, всегда существовало в рассказах Казакова. Рано или поздно, но его героям приходилось смотреть в него, и это холодное, металлическое сверкание подлинности разводило все по своим местам, как неумолимо велят логика и русло жизни.

Любовь, дарующая счастье, ибо рядом - единственно нужный тебе человек да не способная причинить боль, сломать гармонию двух сердец природа («Осень в дубовых лесах»).

А если - в город, если - к людям, если - вот они, блеск «ззеркалья» и сарказм реалиста Казакова! - у единственного твоего человека в этом городе просто-напросто прописки нет? Что тогда?

Труд, работа, способная заменить собою все несбывшиеся желания, все мечты и устремления («Проклятый Север»).

А если рано или поздно отпуск вдруг - ведь не может же человек работать, вовсе не отдыхая, - чем тогда спастись?.. Травить душу памя-



То была традиция русской классической прозы - от Тургенева до Пришвина... Воспринятая Казаковым органически, всем его сердцем и писательской сутью, она имела свои начала, а «концы» - длились, уходили далее, через его творчество, к иным, новым, писательским именам и произведениям.

Памятный всем нам бакенщик Егор из «Трали-вали», с несомненным его даром, талантом и тусклой, вялой жизнью, когда талант просыпается, окликается себя лишь иногда, напоминает - одновременно - и

забывенных тургеневских «Певцов», и немногих персонажей... Шукшина. Душа, живущая лишь в песне; душа, жаждущая праздника. Последнее - очень шукшинский мотив, встречающийся у него с завидным и многозначительным постоянством... Один, единый человеческий тип; одна, общая боль.

Внутреннее родство между Казаковым и Шукшиным есть, на мой взгляд, и в отрицательных, ниспровергаемых персонажах, в точной, злой и обличительной лепке всех этих «крепких мужиков», как называл один свой рассказ Шукшин. У Казакова тоже были такие. Те самые, «крепкие», в которых колом торчала и сразу же была видна какая-то нутряная, нахрапистая сила, не облагороженная ни умом, ни сердцем. Жадно плотское, темное торжествовало тут, брало верх и прорезалось похотью, скотством, пьяной дурью («Некрасивая», «Странник», «Ни стуку, ни грюку», «Легкая жизнь»).

Настоящее, подлинное человеческое счастье всегда было для этих людей как бы на дальнем, другом берегу, куда им никогда не доплыть, не дотянуться. Да они и не знали этого берега, и не жаждали его, и сам Казаков искал его, конечно же, не для них. Тут впустую были бы самые долгие крики.

Он писал для других и хорошо, твердо-знал, зачем, почему пишет.

«Ты пишешь и думаешь, что литература - это самосознание человечества, самовыражение человечества в твоём лице.

Об этом ты должен помнить всегда и быть счастливым и горд тем, что на долю тебе выпала такая честь.

У тебя нет власти перестроить мир, как ты хочешь, как нет ее ни у кого в отдельности. Но у тебя есть твоя правда и твоё слово...» («О мужестве писателя»).

...Я вслушиваюсь в долгое, не покидающее нас эхо рассказов, очерков Юрия Казакова и думаю, что он, конечно же, имел полное, несомненное право на эти гордые и мудрые слова.

Игорь ШТОКМАН:

Ты пишешь и думаешь, что литература - это самосознание человечества, самовыражение человечества в твоём лице. Об этом ты должен помнить всегда и быть счастливым и горд тем, что на долю тебе выпала такая честь. У тебя нет власти перестроить мир, как ты хочешь, как нет ее ни у кого в отдельности. Но у тебя есть твоя правда и твоё слово...» («О мужестве писателя»).